

кажется чужеродным. Притчу и параболу стараются разграничивать: «У адрозненне ад адназначнасці прытчавай алегорыі, парабалічныя вобразы больш схільныя да шматзначнай сімвалічнасці. Парабала максімальна адпавядае прынцыпу “адчужэння”» [3, с. 36].

Нам представляется, что в контексте разговора о параболе можно рассматривать повесть В. Некляева «Вежа», где автор «спалучыў казачную, фантастычную і легендарную плыні, міфалагічнае з рэальным, трагічнае з камічным, прозу, паэзію і драму» [3, с. 37]. И хотя В. Некляев намеренно политизирует свое произведение (этому способствуют даже аналогии с библейской историей о Вавилонской башне), повествование в нем развивается по принципу параболы: начинается отвлеченно, постепенно приближается к главной теме и вновь уходит в абстракцию и отчуждение.

Отметим, что, рецепцию притчевых структур представляют собой повести преимущественно белорусских авторов. В результате синтеза жанровых форм повести и притчи возникает «специфический» белорусский феномен «прыпавесці». Можно предположить, что апелляция к национальной мифологии, актуализация национальных архетипов, углубление морально-этической проблематики соответствует актуальной для белорусской литературы задаче национально-духовного возрождения.

Літаратура

1. Дубашынскі Р.Ю. Прыпавесць у сучаснай беларускай прозе / Р.Ю. Дубашынскі. – Мінск. – С. 13–14.
2. Корань, Л.Д. Беларуская проза XX стагоддзя: дынаміка жанравых структур / Л.Д. Корань. – Мінск: ВПП «Новік», 1996. – 158 с.
3. Ханеня, С.І. Амплітуда мастацкасці: Умоўнасць у беларускай прозе канца XX стагоддзя / С.І. Ханеня. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. – 117 с.

С.В. Лапунов (Витебск)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ ПРОТИВНИКА В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ВОЕННОМ РАССКАЗЕ (В. ГАРШИН – М. ГОРЕЦКИЙ – В. БЫКОВ)

Во вступлении ко второму севастопольскому рассказу Л.Н. Толстой заметил: «Мне часто приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой – выслать из каждой армии по одному солдату?» [6, с. 103]. Первый вариант, по мнению писателя, был бы «гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать» [6, с. 103]. Ситуация, представленная Толстым, ляжет в основу художественного осмысления классической военной прозой проблемы восприятия противника в нравственно-психологическом плане, результатом которого

стало переосмыслить традиционное отношение к противнику как к «плохому чужаку».

Первой попыткой «очеловечения» противника в военной прозе В. Быкова исследователи творчества писателя считают рассказ «Одна ночь». По мнению И.Н. Афанасьева, в этом произведении «появился очеловеченный образ врага: не идеологизированный, а приближенный в прямом, непосредственном человеческом контакте» [2, с. 22-23]. А.М. Адамович связывал с этим произведением попытку вернуть в литературу классическую традицию видеть в противнике не только врага, но и жертву трагических обстоятельств [1, с. 68-69]. Назвав это произведение «воспоминанием белорусской литературы о самой себе» [1, с. 68], Адамович доказывал идейную взаимосвязь «Одной ночи» с рассказом М. Горьцкого «Русский» («Рускі», 1915), даже несмотря на «автономность»: «калі помніў каго, дык хутчэй Талстога, Рэмарка, Хемінгуэя, а не Гарэцкага» [1, с. 68]. Соглашаясь с этим мнением, мы считаем, что основные художественные решения рассказов «Русский» и «Одна ночь» в значительной мере взаимосвязаны с рассказом В.М. Гаршина «Четыре дня».

Безусловно, что общность художественных решений в рассказах Гаршина и Горьцкого определена единой установкой на осуждение бесчеловечности войны. В основе сюжетов обоих произведений – история убийства «несчастливого» человека в «чужом» мундире. Гаршинский египтянин в турецком мундире – такой же заложник обстоятельств, как и герои Горьцкого. Как для Иванова, так и для Русского убийство становится переломным моментом, заставляющим ощутить весь ужас войны: «... скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я, – вот ее изображение»» [4, с.29]; «...і было брыдка, што так блазнуе, быццам не ворага забіў, а якога свайго» [5, с.157]. Нравственное потрясение от встречи с «чужаком» в рассказах Гаршина и Горьцкого отягощено физическим и психическим увечьем соответственно. Вокруг центральных персонажей создается изолированное пространство: если Иванов четыре дня находится один на один с убитым египтянином, то встреча солдат в рассказе Горьцкого происходит поздним вечером на пустом картофельном поле. Действие «Одной ночи», как и «Четырех дней» и «Русского», происходит на ограниченном пространстве, персонажи на время изолированы от остального мира. Но если у Гаршина и Горьцкого изоляция достаточно условная, то персонажи Быкова изолированы буквально. Картина боя в «Четырех днях» и «Одной ночи» лишена целостности, что подчеркивается обилием неопределенных местоимений: «Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям... Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо...» [4, с. 21]; «Недзе ўгары сярод дыму і рэву матораў прагрукаеў кулямёт... У скверы ...замліггалі прыгнутыя спіны, нехта выскачыў з-за агароджы і адразу кінуўся на другі бок вуліцы» [3, с. 158]. Столкновение с

противником персонажами Гаршина и Быкова (как и у Горецкого) неожиданна: «Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... его. Он был огромный толстый турок... Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало»[4, с. 21. – Курсив автора.]; «Волока... загроб ля сябе рукамі і знячэўку жажнуўся: пальцы шкрэбнулі па нечых пыльных і яшчэ цёплых ад надворнае гарачыні ботах... Свядомасць рэзанула здагадка – немец»[3, с. 159]. Результатом столкновения в «Одной ночи» становится схватка, участниками которой движет бессознательная злоба. Останавливает схватку взрыв, изолировавший двух солдат на одну ночь от остального мира. Но если Гаршин оставил своего Иванова один на один с *убитым* врагом, то в рассказе Быкова взрывом в подвале дома изолированы два *живых* человека, а в более широком смысле – представители двух народов, ведь имена солдат – Иван и Фриц – в сознании противоборствующих сторон стали нарицательными.

Осмысление дальнейших событий героями рассказов Гаршина и Быкова происходит, на первый взгляд, в одинаковом направлении: от бессознательной ненависти к попытке понять «чужого». Однако в изображении этого движения есть принципиальные различия. Для гаршинского Иванова бой, в котором он лицом к лицу столкнулся с врагом, был первым. Иванов не только не считает убитого египтянина врагом, но и испытывает перед ним чувство вины. Главный герой «Одной ночи» не новичок на войне. Но в отличие от трех немцев, убитых им в предыдущих боях, этот четвертый немец был безоружен, поэтому боец не может принять привычное решение: ««Забіць!» – бліснула думка... Але, мабыць, гэта лёгкасць і прытрымала яго рашучасць» [3, с. 163]. Не чувствуя со стороны немца угрозы, Волока бессознательно передает ему свой перевязочный пакет: «Баец мог і не даваць яго: не так ужо і шкада яму было гэтага падбітага гітлераўца. Аднак нейкае чалавечае велікадушна штурхнула дапамагчы, бо была ў тым патрэба» [3, с. 165]. В этом эпизоде автор дает возможность разглядеть врага поближе: «Твар у яго быў ужо немалады, загарэлы лоб перарэзалі маршчыны, і над скронямі блішчалі залысіны. На абсівераных няголеных шчоках шархацела русявае шчацінне» [3, с. 165]. Заметив возле уха немца рубец, Волока с удивлением отмечает сходство между собой и врагом: «Волока ўбачыў тое і сам сабе ўсміхнуўся: гэтакі ж самы рубец насіў і ён на левым баку – то была памятка баёў пад Курскам» [3, с. 165].

Совместные усилия в поиске выхода, на первый взгляд, смягчают прежнюю ненависть. Враги пытаются найти общий язык, и каждый из них ощущает, что у них действительно много общего: возраст, жизненный опыт, в том числе мирная профессия плотника. Но даже в изолированном пространстве в сознании каждого сохраняются своего рода «ограничители». Белорус Волока абсолютно справедливо не может забыть

о гитлеровских зверствах: «Пэўна ж, усе яны добрыя ў палоне або забітыя, але хто тады нарабіў такое гора людзям, ... хто заліў крывёю ўвесь свет?» [3, с. 170]. Не может он не задуматься и о том, что подумают об этом его товарищи, начальство и, что пугает бойца сильнее всего, особист. Не случайно в бреду (сон и галлюцинация при изображении напряженного состояния также являются общими для рассказов Гаршина и Быкова), где смешаны воспоминания мирной и военной жизни, Волока видит угрожающего ему особиста Воронова: «Немца хаваў? Ворага тытунём частаваў? Чаму не забіў?... Вышэйшую меру табе!» [3, с. 178]. В сознании Фрица Хагемана тоже есть свои «ограничители». От предложения Волоки сдаться в плен он отказывается: «Нікс плен. Плёхо плен. Рус энкеведэ дойч – Сібір. Пуф-пуф дойч» [3, с. 172]. Кроме того, в сознании немца силен страх за семью: «Гаўптман гестапа Крафт шрайбен, – фрау, кіндэр ком, ком, ком унд канцлагер. Плёха!» [3, с. 173]. С точки зрения Хагемана оба они стали заложниками обстоятельств: «Хагеман – бедны чалавек. Рус Иван – бедны чалавек. Цвай бедны чалавек...» [3, с. 173]. И здесь в сознании Волоки срабатывают утвердившиеся еще с довоенной поры идеологические стереотипы: «Які бедны? – невядома чаму сумеўся Валока. – чаго Иван бедны? ... Калгаснік я» [3, с. 173]. Не желая уступать немцу, считающему, что «кальхас бедна», Волока не чувствует себя уверенно: «Баец адчуў, што не дужа абхітрыў гэтага немца, які прайшоў палову Расіі і, пэўна, наглядзеўся рознага. Але ўсё роўна Валока не хацеў здацца» [3, с. 173]. В невольно возникшем споре он пытается оставить последнее слово за собой: «От жылі. Каб не вы, фашысты» [3, с. 174].

В то же время солдаты понимают, что их судьба зависит исключительно от происходящего наверху. По мере продвижения наружу у Волоки растёт чувство страха и подозрительности: «Баец зняў ППШ з пляча, бяздумна сунуў яму і раптам спалохаўся. Аўтамат апынуўся ў немца, і Валоку – кароценька, на імгненне – здалося: абхітрыў!» [3, с. 182]. Схожее чувство испытывает герой «Четырех дней», когда в окружающем пространстве появляются люди. В сознании Иванова возникает подкрепленный пропагандистским «образом врага» страх оказаться у турок: «К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги... Хорошо, если еще только это, но ведь они изобретательны» [4, с. 28 – 29]. После выхода Ивана и Фрица из замкнутого пространства всё так же внезапно возвращается в исходное положение. И перед Волокой теперь не столяр Фриц Хагеман – и в сторону Волоки летит граната. Но память о встрече с вражеским солдатом один на один стала для него, как и для Иванова и Русского, толчком к осознанию абсурдности войны: «...разгарачаным нутром ён толькі адчуваў, што

сталася вялікая, яшчэ не ўсвядомленая да канца нясправядлівасць, перад магутнаю сілай якой і ён, і Фрыц Хагеман былі бездапаможнымі» [3, с. 185].

Літаратура

1. Адамовіч, А. «Браму скарбаў сваіх адчыняю...» / А. Адамовіч. – Мн.: Выд-ва БДУ, 1980. – 224 с.
2. Афанасьев, И. Кто восходит на Голгофу? Антивоенная идея в творчестве Василя Быкова / И. Афанасьев. – Мн.: Маст. літаратура, 1993. – 160 с.
3. Быкаў, В. Збор твораў. У 6 т. Т. 6. Аповесць, апавяданні, драма, публіцыстыка / В. Быкаў. – Мн.: Маст. літ, 1994. – 543 с.
4. Гаршин, В.М. Сочинения: Рассказы. Очерки. Статьи. Письма / Сост. В.И. Порудоминский / В.М. Гаршин. – М.: Сов. Россия, 1984. – 432 с.
5. Гарэцкі, М. Збор твораў. У 4-х т. Т.1. Апавяданні / М. Гарэцкі – Мн.: Маст. літ, 1984. – 446 с.
6. Толстой, Л.Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т.2. Повести и рассказы 1852 – 1856 / Л.Н. Толстой – М.: Худож. лит., 1979. – 422 с.

Ю.У. Мянёк (Рагачоў)

КЛАСІЧНЫЯ ТРАДЫЦЫІ І НАВАТАРСТВА Ў ТВОРЧАСЦІ МІКОЛЫ НІКАНОВІЧА

Імёны маладых пісьменнікаў і паэтаў 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя (М. Чарота, М. Зарэцкага, К. Чорнага, У. Дубоўкі, С. Баранавых) сёння ведаюць многія не толькі ў Беларусі, але і далёка па-за яе межамі. Лепшыя іх творы вывучаюцца ў сярэдняй школе і на філалагічных факультэтах ВНУ Беларусі, шматлікія творы класікаў беларускай літаратуры перакладзены на мовы народаў Еўропы, Азіі, Амерыкі. На жаль, творы Міколы Нікановіча, цікавага, самабытнага празаіка, невядомыя сучаснаму чытачу. Гэта тлумачыцца перш за ўсё тым, што апошні раз творы Міколы Нікановіча перавыдаваліся ў 1985 годзе. У 1960 годзе выйшла невялікая кніжка “Летнім днём”, дзе былі апублікаваныя сем апавяданняў пісьменніка і аповесць “Мяцеліца”. Дарэчы, прадмову да зборніка напісаў Янка Скрыган. У 1985 годзе быў выдадзены другі зборнік у апошнія 50 год, які меў назву “Светлая даль”. У 2003 годзе часопісе “АРСНЕ” (2003, №1) было апублікавана апавяданне Міколы Нікановіча “Журавіны”. Але ўсе гэтыя выданні не вычэрпваюць значнай і аб’ёмнай спадчыны пісьменніка-маладнякоўца. Нікановіч напісаў даволі шмат твораў, якія чакаюць свайго чытача.

Творчы шлях пісьменніка пачынаецца ў 1925 годзе, калі ў часопісе “Маладняк” з’явіліся першыя вершы вясковага настаўніка. Праз некалькі месяцаў газета “Піянер Беларусі” надрукавала апавяданне “Перарадзіўся”. А ў 1926 годзе Мікола Нікановіч выдае ўжо свае першыя кнігі: “Золак” і